ПОТАЁННЫЙ, ЗАСТЕНЧИВЫЙ РАЙ НА ЗЕМЛЕ

Сочатся капельки звезды

Сочится в зимнее окно

по капельке звезда.

И, слава богу, не темно,

есть в котелке еда.

И позади, коль суждено,

вчерашняя беда.

Я снаряжу вечерний чай

в жестянке иваси.

Тебя припомню невзначай.

Где дом твой на Руси?

Но ты в ответ не отвечай –

господь нас упаси.

Есть поле в поле.

А за ним

елань и глухомань.

Есть много лет, есть много зим

и путевая рань.

Холодный скрип бродяжьих пим.

И неба филигрань.

Погоды чудные стоят.

Меж них я долго был.

Когда-то я кого-то я

как будто бы любил.

Но дни былые яд таят –

и я их позабыл.

Вот встречу дом.

Осевший в наст –

невзрачен, нелюдим.

Но греет небо дыма пласт.

Лишь там, где дом и дым,

найдутся люди, кто подаст.

И мы им подадим.

Войду, сниму котомки груз.

И шапку заодно.

Дыши, душа моя, не трусь.

Не так уж и темно:

сочится грусть, светится грусть

звездою сквозь окно.

Кипень

И примстились с утра мне любовь и дорога.

Я поверил в любовь, а дорогу отверг.

Но плывущий по озеру месяц двурогий

путь серебряный выстлал

за водную твердь.

И шагал я дорогой молочной – покуда

не раскинулся садом вблизи окоём,

и догнало меня солнцеликое чудо

молодым, рыжебоким, весёлым конём.

Я погладил желанного спутника жизни.

Не забыл накормить.

Не забыл напоить.

И помчался по саду цветущей отчизны,

всё забыв, кроме счастья зелёного – жить.

Вились лентами кисти черёмух и вишен.

Смерчем пар завивался,

срываясь с воды.

Кипень мир заливала по самые крыши.

Бубенцами сверкали, звенели плоды.

Горячо! весело! как дорога к любови.

Я поверил, что сердце – вещун и ведун.

Выгибала судьба соколиные брови.

От восторга смеялся и плакал скакун.

Вот такая была забубённая скачка.

Не заметил,

как лучший свой день обогнал.

Вот уж листья с деревьев посыпались в спячку.

В лёд вечерний оделся полдневный канал.

Огляделся. А дальше – седая дорога.

Конь исчез.

Путь морозной печалью повит.

Но плывущий по синему месяц двурогий

мне дорогу опять серебрит.

Я вздохнул и пошёл.

Словно поле – я понял:

всё придёт и пройдёт, и воскреснет, и вновь

будут зелень и звень, будет кипень погони,

потому что всё это – любовь…

Огненная земля

Ут-жир кичеп[[1]](#footnote-1)…

Долина прела в шубе

осокорей, платанов, тополей.

Хотелось пить и не мечтать о глуби,

о тишине на Огненной земле.

Мерцала даль.

Семипудовый боров

дремал в пыли под россыпью теней.

Цыганка проскользнула меж заборов

в панёве из пылающих огней.

Не думал я, что через три минуты

она возникнет, серьгами звеня,

передо мной.

И глянет зло и люто

на лишнего прохожего – меня.

И скажет, протянув ладьей ладошку:

«Дай гривну –

а не то сгоришь во мгле.

Дай гривну на барона, на окрошку.

Поймёшь меня на Огненной земле».

…Курились скалы – сизые от стужи.

И льдину отгонял в залив отлив.

На льдине синеватым полукружьем

тюлени грелись –

словно россыпь слив.

От дальнего костра пришла старуха.

А может, молодуха – не понять.

И посмотрела голодно и глухо:

«Добудь тюленя.

Чтоб сытнее – пять.

Ночным костром в пещере заклинаю,

куском жаркого в угольях, в золе –

иначе не поймешь земного раю

на никакой на Огненной земле.

Иди!»

И я пошёл – не зная броду.

…Пылали солнцем сосны в высоте.

И женщина внизу входила в воду

в русалочьей прозрачной наготе.

Я сел в песок на вересковой гриве:

смеяться? опасаться? горевать?

«Ты кто? Но знай:

я не имею гривен

и не могу тюленей добывать».

Ответный взгляд – как день в цветенье радуг.

И смех – как будто ветер тронул медь:

«Ну, ты герой!

Мне ничего не надо.

Я – жизнь твоя, со мной забудешь смерть».

Когда б не те старуха и цыганка,

прямым лучом прошёл бы свой простор.

Но круг замкнулся.

Я собрал вязанку

из вереска и возродил костёр.

Ут-жир кичеп – я добываю гривны

и жарю дичь в пылающей золе…

Я словно сплю меж радуг и меж ливней,

забыв про жизнь,

на Огненной земле.

Ястребиное Захарово

Дикий крик ястребиный.

Я резко очнулся.

Над глазами сиял между вётел прогал.

Дальний лес за речною излучиной гнулся

и к дворянской усадьбе аллеей сбегал.

Загудело пространство –

и вдруг распрямилось.

Старый дом за рекою колонны подъял.

Засияла округа – как божия милость.

И сирени затеяли розовый бал.

Золотой колоколец далёкого смеха.

Двери хлопнули, будто затеяв пальбу.

И курчавый малец по перилам поехал,

чтоб, скатившись, упасть в молодую траву.

Где вы, ястребы неба?

Я знаю: над полем

от сурепки медовым и всласть золотым

вам не надо искать сокровенную долю,

просто надо быть жизнью – сиреневой в дым.

Я не помню твой голос,

стремительный Пушкин.

Помню утро твоё и сиреневый бал.

Помню: «Саша!» – призыв с недалёкой опушки

твоей бабушки – Машеньки Ганнибал.

Ах, какие в Захарове ветры и дали!

Пушкин к липе припал, на скамейку присел.

Все мы славе и доблести время отдали.

Ястреб в солнечном ветре бессмертно висел.

Всё потом, всё грядёт:

и любовь, и свершенья,

и сраженья, и гибели яростный стон…

А пока – только ястреба в небе круженье.

Только наш удивительный сон.

В этот день я проспал посредине вселенной

миг рожденья, миг смерти

и вечность меж них.

Словно жил меж травы – бесконечной и тленной.

И трава нашептала написанный стих.

Лещ

Лещ в синем омуте перед запрудой

был вечен,

словно бог земной –

этакое бронзовое чудо

с дубовую лопату шириной.

В долгие лета,

что солнца ваяли,

вдохновляли на пахоту, жатву, покос,

голубые водоросли полировали

пятаки чешуй как зеркальный поднос.

Русалки к нему подплывали утром,

смеялись,

расчёсывая волос поток.

А он пузыри выпускал уютно –

по-домашнему заботлив и волоок.

А на запруде добытчики крючки точили.

Самый малый плотву и ершей таскал.

Но главный лещ почивал в бучиле

и русалок к людям не выпускал.

Сладки ночлег и уха в сарае.

Огромен малинник – от ягод ал.

И жизнь человечку казалась раем.

Да так и было – пока он был мал.

А на земле – то снаряды вскипали адом,

то дожди на хлебах принимались плясать…

И выросшему мальчику сказали: надо

идти, чтобы маленький рай спасать.

Тогда на зорьке

он пошёл на плотину,

раздвигая тёплый туман плечом.

И, пока выпускали в луга скотину,

насадил червяка на слепой крючок.

Закинул наживку в бучило, под корни.

«На прощанье, – вздохнул, – хоть бы рыбник испечь.

А то какой я буду солдат – недокормыш:

ни винтовку поднять,

ни тем более меч».

Неподвижно и долго вода стояла.

Долго грустили в воде глаза.

Покуда, как пуховые одеяла,

не надвинули на омут тень облака.

И тогда поплавок покачнулся, дрогнул.

Пузырьки засветились потоками звёзд…

Шёл парнишка с лещом на плече –

и дорогу

за ним подметал двухаршинный хвост.

А потом мать парнишки в квашне замесила

горсть мучицы из ржи,

что в схоронке тишком лежит.

И просила у господа милости: силы

для последыша в доме –

на смерть и на жизнь.

Уложила на противень поле и речку,

солнце, ветер, траву и сиреневый сад.

И вздыхала над рыбником русская печка

жаром скорбной любви

то ли час, то ли вечность подряд.

А пока лещ томился –

стол холстиной накрыли.

Из подвала добыли жбанчик браги на свет.

И поспевший пирог словно книгу раскрыли –

на две части,

на Старый и Новый Завет.

Так ударило паром и рыбным, и житным

в потолок,

растеклось широко по избе,

что на миг примечталось:

теперь будет сытно,

и конец – наконец-то! – борьбе.

Мать смотрела на сына.

Сын ел и не ведал,

что вошли в его жизнь – жизнь и память леща,

стали телом его, стали кровью победы.

И дышала душа, от надежд трепеща.

В синей жизни моей есть овальные дали,

ночь на старой плотине,

картошка в золе.

Есть за адскими вспышками сумрачной стали

потаённый, застенчивый рай на земле.

1. Ут-жир кичеп (*татар*.) – проходя (пройдя) огни и воды. [↑](#footnote-ref-1)